

Ольга Седькова

ИЗ КНИГИ

"СТРОГИЕ МОТИВЫ"

ТЕНЬ

меленькая поэма

I

Еще тогда она меня звала.
Я нехотя вставала по утрам,
когда скучнее утреннего чая
казался дом, и школьные чернила
бледнели в окнах, вспоминая вдруг,
что на три дня занятия отменили
из-за больших морозов. Чудеса!
Еще тогда я видела ее.

Я подошла к буфету — перебрать
смешные безделушки, а на деле —
тайком от няни вынуть шоколад
из маминной коробки. Темный, длинный,
мне слаще сласти был испуг мой. Вдруг
я бросила коробку позабыв
о том, что обнаружится пропажа.
И свет играл в неубранной постели,
и комнате пестрела на глазах.
Я думала: у бабушки, в июле
так надо мною ветку нагибали,
набитую орехами, и каждый
орешек был желаннее других,
но тот, что рядом, тот еще желанней,
пока не крикнули: "Да ну тебя!" —
и ветвь освобожденная взлетела.

Еще тогда я видела ее.

Она могла мне быть сестрою старшей,
но слаще и опасней. С первых слов

я поняла, что больше мне не жить
среди моих ровесников, что больше
удачи в жизни мне не увидеть.

И кровь моя смешалась в горе сладком,
и сердце залила. И потому
я двигалась неловко и лениво.

И, как теперь, она меня звала.

П

Как тот, кто поднял глаза от книги
в недоуменье — глядит, не видя,
как иглы сыплются на страницы
и серебро на сухую реку,
вверху тени идут на убыль,
и дом чужой, и зовут к обеду, —

так, от любви отрываясь, сердце
еще искало кругом подвоха,
чтоб в шуме крови услышать поступь,
чтоб скрип колес у окна спросонок
услышать голосом долгожданным,
услышать голосом, на который
не доставало силы ответить.

Но слух был строг и время зернисто.
И всё тенистей стоял орешник,
и листья разумом наливались.
Так зреет разум земных сказаний,
лесных быличек, баллад холмистых,
где о любви не ведется речи,
а тень сияет, как свет небесный. —

И вот выходит, и прут ореха
играет в пальцах. Не так ли колют
иглой серебряной наше сердце?
Не так ли чернь в серебро втравляют?
Скажи сестра...

Ш

Помедли, как я медлю
перед тобой сейчас!
А в сердце сокрушенном
уже гремит: в дорогу!
в дорогу! в дорогу! —
пока не смеют нас.

Помедли, как я медлю,
переставя жить.
А ты — пустое небо.
А ты — огонь вечерний.
Огонь в окне последнем,
Куда тебе спешить?

Помедли, как я медлю,
слабея у огня.
А ты — смола на срубе
и горький одуванчик.
Смола, смола и губы.
И больше нет меня.

ІУ

— Не смола и не слабого стебля
дикий вкус на твоём языке.
Ты не знаешь, как прошлое слепнет,
как идет поводырь налегке.

И, минуя за метою мету,
он проводит меня мимо мет —
тень, еще не прощенную свету,
но уже лучезарней, чем свет.

Только будущее открыто
не слышавшим о сласти земной.
И, как братья идут минориты,
ты,
и стоя,
уходишь за мной.

НОЧНАЯ БАЛЛАДА

Как корень шерит под ногами
и наткнется на камень
и поворачивает вспять —
так ночь—строительница. Разум
в ее строеньи безобразном
очнется и начнет петлять.

Там анфилады и морока
то круглых, то стрельчатых окон,
зеркал завешанных и ниш,
там тишь, когда, встречая слово,
душа рассыпаться готова
с песчаным шорохом. Но ти!

Как корень шерит под ногами
и наткнется на камень,
я руку к сердцу подношу,
я жду тебя. Земля и шорох —
мой дух. Петля в коридорах,
я забываю, чем дышу.

Но корень шерит под ногами
и наткнется на камень
и поворачивает вспять.
Над нами небо, как гаданье,
и воздухе недогаданье
и губы, ждущие предать.

ВСЛЕД

И вот,
усилием одним,
моя душа идет за ним —

за тем, кто памятью отвержен
и подымается живым
по перепутьям непроезжим
по поселеньям нежилым,

по колкой мёртвовой воде,
по вечно мнящейся звезде.

Скажи, какое расставанье
при жизни нам разрешено?
Еще не рухнуло дыханье
и не потушено окно,
и под любующимся взглядом
слеза еще с улыбкой рядом,
но кто ушел — ушел давно.

Да, есть единственное дело,
чтоб имя вынести свое,
чтоб так душа осиротела,
как будто не было ее —
предаться странствию пустому,
вспоминая на ходу,
что не звезда ведет из дома,
но тьма сгущается в звезду,
и тьмой становится свобода.

И переводит через воду,
светильник нищий засвета,
чужое, общее дитя.

ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ МОТИВ

В час молчания птиц и печали
бессловесных растений и рыб
различается зыбки качанье
и веревок раскаченных скрип.
Это пыль сновиденья густая,
под шагами неслышная пыль.
И качается зыбка пустая.
И над нею нагнулась Рахиль.
То забудется, горем наскучив,
то, очнувшись, клянет забвенье
и, как в зеркале влаги текучей,
обезумев глядится в нее.

Улыбаясь, качаются воды
и дивятся своей наготе.
Кто-то дышит и медлит у входа,
приучая глаза к темноте.

УСПЕНИЕ

О прошедшем ни слова. Но сердце, куда мы пойдём
из гостей запоздалых, из темной целебной теплицы?
Под ресницами воздух и ветер и небо, как перед дождем,
изгибается свет, но по имени кликнуть боится.

И выходит она в задохнувшийся, плывущий луг,
молода, молода, словно холод из жерла колодца,
и слабеет трава, и непряздных касается рук,
и почти у плеча драгоценная ноша смеется.

Задышнется луг, и немеет, и сходит с ума,
и цепляя за локти ее, вымогнет, как милость,
боль и легкую смерть и забвение. Только она
наклоняться к цветам и венки заплетать разучилась.

Значит, стоило молча сучить непомерную нить,
чтобы здесь, перевив с павеликой и диким укропом,
удержаться от жизни, и, в слезах задыхаясь, обвить
эти щиколотки, эти узкие пыльные стопы.

ЗИМНЯЯ МУЗЫКА

Со скрипом раздвинулся воздух подозрный.
В зиме непомерной, как в юности вздорной,
желание смерти и страсти позорной.

Желанье и скрип сопряженных волокон,
деревьев с лопатками нищенок, боком
под острым, горящим, неверящим оком.

И, стертой беседы неловкий наследник,
на трезвости ловит меня собеседник,
а Шуберт игривет на трубах соседних.

Стучит отмороженный клавиш. Не пальцы
я дую, и всё не могу догадаться
о том, кто, наскучив бесплотьем и плотью,
гонцом в музыкальных немецких лохмотьях
прикинувшись, медлит у входа — и вот,
как в двери из двери, в бессмертье ведет.

МОСКВА

А вот пожалуюсь тому, кто нас учил:
не итальянцу с циркулем проворным —
тому, кто кисть напивал до корня
творёным золотом и темной киноварью —
он посох пастырский тебе препоручил,
в ты была молочной тьмой и гөрью.

Но кто поверит мне, когда подымешь ты
отвыкшие от книг глаза простолюдинки —
сухие, легкие, так льдинкою о льдинки
позвякивала прорубь на Крещение.
И слаще всей молочной темноты
игра дыханья, снега и смущенья.

ОПЫТ ИСТОРИИ

О временах, чей прах, как соль,
сказать ли? в творческую боль
перебродить досаду?
Скучая, крадется палач,
и время тянется, как Плач
о взятии Царьграда.

Мы речь об этом заведем.
Приморской лестницей сойдем
глядеть военный праздник:
там жирно золотится рябь,
там государственный корабль
в прогорклом масле вязнет.

Но далеко, как Судный день,
чересполосье деревень,
Царьград или Цусима,
когда ленивее воды
теченье угличской беды
и кровь живого сына.

И встала, и осела пыль.
С лицом, как мартовский горбыль,
целитель белоглазый.
Его отравы не берет,
он, видно, вспоен из болот,
он вышел к нам, как из ворот,
из тайного рассказа.

Он может с кровью говорить,
он может в будущем сцепить
распаянные звенья —
и спит царевич, исцелен,
и видит бесов легион
и жизни продолженье.

И к нам, Господь, не будь жесток! —
дай краткий век и точный срок,
вели, чтоб смерть-ворона
повыше выбрала сучок,
и пуля клюнула в висок,
как петушок Додона.

ЭЛЕГИЯ РОЗЕ В ЧЕТЫРЕХ ЧАСТЯХ

I

Одно я знаю: гибкую охапку
тяжелых роз. С одышкой и укрядкой
ее несли, когда уснули мы:

— Эй, поживее! Сон без сновидений
короче ветки, срезанной с утра.
А как приснишься — закричат, заклячат:
ту подари да эту подари,
мол, в сердце пусто, в комнате темно...

И так, ворча, она ушла от нас
к хозяевам. А роза молодая
не спящего глядела из-под век —
и выпала.

И, отступая в тень,
вся жизнь перед тобой — как зимний день,
внимательная роза очага,
повествованье, золото ночей.

П

Душа моя, как сладко говорить! —
играют угли и глаза слабеют
и зренье возвращается в огонь,
как горькая Дидона. Вот куда
тянуло нас! — туда, за лепестки,
в пустую сердцевину, в это жерло,
куда пространство падает, и сердце
летит за ним — к перегоревшим дням,
к любимым и тоскующим теням.
Вот почему, когда ведут рассказ,
его внезапно обрывают: спазм
стыда и скорби. Это те, кого
мы сделали несчастней нас, и чьим
любовникам вложили в сердце камень,
высокий перус напрягли, и цель
внушили, и до света разбудили:
вам жить поре и любящих бежать! —
чтобы они, безумные, могли
о милой жизни не жалеть, рвать
с усмешкой лепестки, войти и стать
золой и вздохом, и мольбой о встрече,
и умолчаньем — сердцевинной речи.

П

Гудит пчеле, и мириады слов
мы вынести должны, пока разлуку
не оборвут последние слова.
И мы, вздохнув, живем — но вздох живой
скорее нас прощется с землей.

В тугом пространстве, полном парусов,
набитых и прилаженных друг к другу
так, чтобы судно на любом ветру
осталось неподвижным, удержалось,
как узел недовязанный, как роза, —
в таком пространстве торжествует вздох.

Он трогает светящиеся створки
то там, то здесь — то будущей, то прошлой,
как плетью в листьях, музыкой мелькнет.

И звук, который в прошлое ведет,
на полпути от смерти отстает.

IV

И кто-нибудь очнется, без отчета
твердя одно. И всё ему чего-то
недостает, пока он не дойдет
до наших дней, и комнаты пустые
влюбленными ключами отперет.

И видит розу в темных кирпичях
и тени на сияющих стенах:
рассказчика, который день за днем
кладет в огонь, как досточки сухие,
и звет: он один. Но он вдвоем:
и тот, о ком повесть вонье плачет,
здесь забнет и лицо в ладонях прячет,
и жизнь его сбывается, как страх.
И дивный слушатель стоит в дверях.

ПРОКЛЯТЫЙ ПОЭТ

Ты думаешь, блуждая по кругам
неравного страдания, я отдам
весь ад и грех за вечное забвенье?
Я был рожден, чтоб претворился срам
в божественную память поколенья.

Когда, один у матери моей,
я родился — погода у дверей
была подобна розе госпитальной.
И род услышал: далее не смей.
Здесь кровь нашла себе сосуд печальный.

Веками сотворенная печаль
пришлась по вкусу веку — *Fleurs du Mal*
залить слезами, пробежать страницы
в запретный сад, где высохли едва ль
одна слеза влюбленной ученицы.

И "К Лазарю" твердящие уста —
как Клиан, приемлющий Христа,
когда проказа пахнет адской серой,
как на колени ставшая сестра
перед сестрой, смеющейся над верой.

Я рос, окутан нежностью двойной.
Ничто не обещало стать виной.
И только крови оглашенной речи
я выслушал, когда позвал и н о й, —
и вышел на предложенную встречу.

Но разве Тот, кто нам внушил, любя,
судьбу и тело, — позабыв Себя,
растопчет нас, как бабочку-поденку?
Но проклял, но глаза отвел, скорбя,
от злого и любимого ребенка.

И это было то, что ты зовешь
грехом и мукой, что внушает дрожь
и осужденье вечное пророчит,
когда ты чуждый голос разберешь
в многоголосье злоязычной ночи.

Но разве мука — то, что я терплю?
Мне кажется: я не раздевшись сплю,
и вот рожок сыграет пробужденье —
умытым словом, горестным л ю б л ю
я с губ сотру ночное неваженье.

Гляди: неподалеку от села
лесник проснулся. У него дела —
простукивать и слушать бор еловый.
Он вглубь уходит, и земля тепле,
и сердцевина каждого ствола
звучит и плачет: "Боже! Я здоров."

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ ОДНОЙ СТАРУХЕ

О жизни лиялой, о блюде разбитом, о лестнице шаткой,
в там — говорит — темнота, но она не мешает, она не мешвет:
нас мало кто видит, а мы наблюдаем украдкой,
как век коротают, как крошки в ледонь замечают.

Мне время язык развязало, но губ не разжало.
Так дай мне пройти — не тревожь жужжащего мрака.
Кто выберет слово, тот вхнет и выдернет жало,
и сердце попросит земли, как пчелиная ранка.

А там — говорит — темнота. И не знают глаза человечьи,
какие птенцы под окном, и зачем они бьются,
и просятся в окна, и сладко тащ, сладко щебечут
о лестнице шаткой, о жизни, о жизни, о блюде...

ПУТНИК ОСЕНИ

Как дерево между деревьев худых,
здесь осень. — Прощай, отвернись и исчезни,
мне стыдно.

И кто-то выходит из них
с душой очевидной, как время болезни.

— Я слышу тебя. — и, лицо заслоня,
он шепчет: Я слышу тебя, провожатый,
веди же как знаешь, да минет меня
грядущего ужас и узел развязанный.

В овраге, где грешные души живут
и свистут и каплют, себя окликаю:
живе ли? живе ли? — и эта, живая,
приложится к ним, как намокший лоскут.

. . .

Есть воздух несчастья: он рвется, как плохо спряденная пряжа.
Мне часто казалось: довольно — но снова насли и поили.
Довольно, я знаю уже, я лежу в оловянной постели,
и столько жужжит надо мной, и глотает, как слезы, и падает ниже.

Стоячие воды лежат и затекшими слышат руками:
должно быть, я в парке, я сплю, я качаю пустые качели.
Как сладко с тобой, говорю, как ты помнишь меня, поруганье —
и к яблоку тянется глиняный мальчик и листья летят, как хотели.

РЕКВИЕМ

Не для поминовения или плача
ищу тебя в себе, не потому,
что жизнь болит, как стёртая обида,
под ветром смерти. Нет, перед тобой
хочу сказать, что ты — не то, что ты
решила о себе. Я говорю,
что смерть — не тать в ночи, не лихоимец,
но долгая прерывистая мысль.

И это знание у меня в руке,
и страх в душе. Твердят "Судьба уходит
в твои слова, чтобы назавд к тебе
уже не возвратиться". Нет, судьба,
как нищенка загорская, стоит
у выхода из слова. И довольно
кивке согласья, чтоб она вошла —
и пес завыл, и дети закричали.

Прости, я заподозрила тебя
в таком кивке. Прости, я понимаю:
молчанья нет. Нельзя рукою руку
удерживая, губы закусив,

перевести глаза, когда слова
стоят вокруг. Перемолчишь себя —
в сон доскажет, сломанный тростник
сыграет в сказке, может быть, любимый
сюда войдет и по губам поймет.
Молченья нет. Мы говорим. И страх
должны заговорить, как суеверье,
переступить. Единственная трезвость —
отчаянье. И это знает тот,
кто режет стекла, кто с крыльца в сугроб
выплескивает воду, кто со струн
снимает звук, кто скальпель погружает
в живую ткань, кто разнимает губы
и говорит обидчику: Прости.

Прости меня, я не хотела зла.
Войди сюда и подойди ко мне.
Возьми слова, и выбери из слов
чистейшие, живые зеркала,
и в них гляди. И это будешь ты.

Из дома в дом раздетой по морозу
перебежав, румянясь — будешь ты.
И молодея яблоко надкусишь.

Я так давно хреню его тебе.

ТРИ БОГИНИ

По стране давнопрошедшей
ходит память и не знает,
кем назваться, как виниться
и в какую дверь стучать...

Спит ребенок в колыбели
пестрой, ивовой, плетеной,
и не спит его отец.
Говорит он: Слушай, Хлоя,
снится мне или не снится? —

трех сиделок неизвестных
вижу я у колыбели,
вижу ясно, как тебя.

И одна глядит открыто,
и глаза ее светлее,
чем бесценное оружие.

У другой живая влага
между веками — такая
в роднике, в овраге тайном,
где, судьбы своей не зная,
пьет подслеженный олень.

Третья глаз не поднимает,
непокрытая, как роза.

Сердце, сердце, что с тобой?
Сердце, или ты забыло,
как тебя в загробный погреб
уводили и в слезах
ты твердило: если снова
позовут меня родиться —
я возьму судьбу другую:
пусть она пройдет в работах
и в пастушеской одежде,
пусть уйдет она без боли,
как улыбка с губ уходит...

Для чего же ты велишь,
чтоб ребенок засмеялся
и нашел глазами третью,
и слова проговорил:
— Я тебе хочу служить,
золотая Афродита!

• • •

МЕТАМОРФОЗЫ, ИЛИ ИСКУССТВО ЛЮБВИ

I. ДАФНА

Видишь ли: всё подлежит превращеньям. Не меньше, чем нами,
заято время кукушкой, и вербой, и камнем дорожным.
С севера пишет Овидий. Преданья походное пламя
греет ладони, лицо умывает, кивает прохожим.

Ты не любила меня, и, судьба моя, так говорила:
Лучше, зажмурившись крепко, шерить по дуплам загробным,
и забежать, задохнувшись, и роем слепым и бескрылым
у ненасытного жерла кружиться с водой огромной.

Как ты устала тогда! Как одежда успела намокнуть!
Лиственный шум обрывая коротким дыханьем погони.
Я наклоняюсь над памятью бедной и глажу ушибленный локоть —
и, усмехнувшись, смолу молодую стираю с ладони.

Можно вернуться назад и оттуда стремиться к назначенной мете:
дерево песни наполнено мраком грядущим,
каждая ветка болит, и я знаю, что это бессмертье —
это возлюбленный ствол возникает в лесу равнодушном.

II. НАРЦИСС

Бледней и ужасней твоя красота, опершись на ладони.
Мне в щелку позволено было увидеть влюбленное зренье —
и я повторяю: бледней и ужаснее. Возле ладони,
я вещь, и всего лишь. А ты на вещах освещенье.

Ты в облике нашем, как рыба в сетях обветшавших,
в текущем его лабиринте, где выход на каждом движении,
на темной полоске у губ, на кувшинке, на листьях опавших,
себя от себя оттолкнув,

умирая,

качается зренье.

III. АКТЕОН

Когда, раздвигая языческий лес,
охотница выйдет на воздух открытый,
и тени сбегают, как влага с небес,
и время шуршит под подошвой разутой —
спроси, как душа ее в своре неслась,
как кровью влюбленной земля напилась.

Светлее, чем камень со дна родника,
поднимет глаза уберегшеся лани,
и запах черемухи и ивняка
раскроется в ясной ладони румяной:
— Я помнить не помню и знать не могу,
кто смерть с обладньем связал на бегу.

Пускай времена нагоняют тебя
и ревность кипит, как охотничья свора,
за тем, что копье для броска отведя,
ты с жертвой таким обменяешься взором,
что кровь ее смоешь, с водою шутя,
как будто умоешь чужое дитя.

ФИЛЕМОН И БАВКИДА

Любовь молодая следит из ветвей,
как сердце ее умоляет: Добей!

А старая ходит с целебной травой.
Сосед ее знает и путник чужой

глядит, как душиста ее нищета —
и дом без ребенка, и двор без скота.

Его за деревню выводят с утра
вдовец и вдовица, отец и сестра.

И он говорит, обернувшись на дом:

— Не нужно прощаться! — мы вместе пойдём.

И вот они видят, ступая легко,
как жизни не жалко, как жизнь далеко —

в притертой коробке, в зашитом мешке,
в наперстке, в иголке, в игольном ушке.

ЧЕТВЕРТАЯ ЭКЛОГА

Нет имени на языке моем.
Нет имени, закрытого, как сердце,
как сердцевина сердца, тайный дом,
где мог бы ты вздохнуть и обогреться.
Бездомен ты на языке моем.

Нет имени, нет полного тобой
зрачка и темноты, ее глубоких
любимых складок, сложенных мольбой,
где нас увидят в освещенных окнах,
где мы, не видя, встанем над тобой.

И встанем молча, с головы до пят
в цветном огне: волшебное рождение
затеplено среди живых оград.
Глубокий лес расправлен, словно сад,
распрямлены глядящие растенья.
Весь свет рассеянный, весь воздух зренья —
к девильне завезенный виноград.

Глубокий лес расправлен, словно сад.
И мы стоим, и нас, как сон, глядят.

Не положив, но выронив из рук
тяжелые дары, рыдает эхо:
пути ведут на запад и на юг,
спеша, как струйка из худого меха.
И утро встало, как ответный звук:

— Друг Августа и будущего друг!
Последний гость последних именин,
гляди, поэт: ты больше, чем один. —

И, отрясая стихотворный прах,
встал беженец с младенцем на руках.

ОТРАЖЕНИЯ

П. МАРГАРИТА

I

Старого званья горячую розу
пальцами учат и ртом узнют.
Роза-сестра! усмехнуться не поздно,
только засмейся — и сердце вернут.

Только вивни — и слуга-пересмешник,
разум мой станет считать лепестки
от сердцевины до области внешней,
от ожиданья — до общей тоски,

где прорастает живая ограда,
где, как за шторами, в горле темно,
дверь на щеколде — но настезь из сада
в горницу Гретхен открыто окно.

2

Там упругие холмы —
как удары с колокольни,
и луга бегут кругами
с воздухом вперегонки.

Но отчетливей, чем день,
чем раскачанная бронза,
приближенье ночи важной,
трепетанье влажной тьмы.

В это время слышен шаг,
прерывающий разлуку,
и слабеет отраженье
на измученной воде.

Маргарита! Из сестринской розы небес
 лепестки подбираю, в саду, на коленях,
 там, где яблоня пестует завязь и спесь,
 где, как рана, свежее земля на корнях.

И глаза отведу, и ладонь уколю,
 и один уроню, и смешаюсь с другими...
 Небеса в небеса благовония льют
 и во тьме раскрывается женское имя.

Ш. МАРИЯ

Как камень на сердце влюбленном,
 есть будущий мед на губах
 и комната в доме беленом
 в оранжевых шитых цветах.

Хлопочут кукушки стенные,
 и каждую жалко до слез.
 Из дома сказали: Мария!
 И с вишнями сердце зашлось.

И там, где, как к волосу волос,
 подобрано девять подруг,
 одна выступает на голос,
 и снова смыкается круг.

Она же идет и собою
 неволит и хочет сберечь
 барвинок, и руту, и тою,
 и полужнакомую речь.

У. ДУРОЧКА

Кто хлеба твоего, забвенья,
 попробовал, твоей воды
 хлебнул — не стоит сожаленья,
 как тень, смешавшаяся с тенью,

но шаг его звучит, как пенье,
и пахнут яблоком следы.
Так дурочка после беды
остановилась заглядеться
на птичьи хлопоты в кустах,
не зная, чье дитя под сердцем
и чей платок на волосах.

УП. РАЗГОВОР О МИНЬОНЕ И ЕЕ ПЕСНЯ

Есть говоренье о конце —
как будто на смех при скупце
кидать монеты в воду.
Мой друг, растянем эту сласть!
Достанем слов, чтобы не впасть
в молчанье и свободу.

Не замолчать — такая тьма
в молчаньи! — Выжить из ума
от состраданья или
от тяготенья век спустя
к тому, с кем странное дитя
до двери проводили.

Я вижу сад и общий сон,
где каждый плод позолочен,
как перстень обручальный,
смолы врачующий наплыв,
сучок обломанный, мотив,
подхваченный случайно:

— Отец, найди мне посошок!
Ни зги в прошлом, и зрачок,
расширенный от страха.
И столько праха на губах,
как будто сели сорок прях
за смертную рубаху.

И, плача видели друзья,
как спотыкаясь и скользя
бредет мое дыханье

в исток стыдящийся ключа,
в горящий корешок луча,
в рожок повествованья.

И я пойду, как жизнь и стих,
среди попутчиков святых,
не сторонясь и пряча
лицо, любимое толпой,
лицо, забытое тобой,
как лишняя удача.

ЛЕГЕНДЫ

ПЕРВАЯ

Как олень обернулся к нему с человеческой речью —
кровь сказала: Прощай. Я не знаю, как круг завершить
в этом теле жестоком. И сердце ответило: Легче
мне землей наддышаться. Но Боже, как хочется жить!

Это жизнь, это страх, насеченный огнем на скрижали,
растворяет листву, и я слышу вверху над собой:
— Я слабейшая ткань, на которой сердца испытали,
Я слабейшая ткань, заживленная болью живой.

ВТОРАЯ

Среди путей, врученных сердцу,
есть путь, пробитый в оны дни:
переселенцы, погорельцы
и все, кто ходит, как они,
в груди удерживая душу,
одежду стягивая, шаг
твердя за шагом, чтоб не слушать
надежды кнут и свист в ушах.

Кто знал, что Бог — попутный ветер? —
ветров враждебная семья,
чтоб выпрямиться при ответе
и дрогнуть противостоя,

и от любви на землю пасть,
и тело крепкое проклясть —
ларец, закрытый на земле.

И руки так они согнули,
как будто Богу протянули
вино в запаянном стекле:

— Открой же наконец, испробуй,
таков ли вкус его и вид,
как дэль, настоенная злобой,
Тебя предчувствовать велит!

ТРЕТЬЯ

Под небесами, под мостом горбатым,
в минувшем веке, баснями богатом,
среди блудниц, аскетов и гостей
сидит, не разгибаясь, Бог детей.

— О Господи, — Мария говорит,
египетская бедная блудница, —
и я — как те, кто у тебя толпится,
но сердце подступиться не велит.

Я вижу дом, изъеденный жучком,
и шопот за столом, и шум за дверью,
и в окнах затяжное суеверье,
и плечу, засыпая, обо всем.

Сидит, не разгибаясь, Бог детей.
Он под мостами, он в люнете храма,
среди завес и золотого хлама,
не разведет страдающих бровей.

И ты, душа, на страшную свободу
отпущена: в поруганную воду
свой хлеб крошить и прошлое кормить
и не прощенного в алтарь вводить,

когда, минуя нас в тоске дорожной,
проходишь ты походкой осторожной,
страшась вещей и заключая в них
тяжелый жар светильников живых.

ПЯТАЯ

Когда гудит судьба большая,
как ветер, путника смущая,
одежду треплет, и своя
душа завидней, чем чужая, —
монах старинный вопрошает:
— Скажи, кому подобен я?

И видит: зеркало живое,
крылатое, сторожевое,
журча, спускается к нему,
и отражает ту же тьму,
какую он борол. Но в нем,
в дыханье зрячем за стеклом,
она — как облако цветное,
окружена широким днем.

Так чья-нибудь душа живая
не вытерпит прямого дня,
и горе горем прикрывая,
и слово словом заслоняя,
тьму путевую соберет
вокруг себя, и в ней пройдет.
И в ней огонь его горит.
И свет, как притча говорит.

ДИКИЙ ШИПОВНИК

Ты развернешься в расширенном сердце страдания,
дикий шиповник,

о,

рвнящий сад мироздания!

Дикий шиповник и белый, белее любого.
Тот, кто тебя назовет, переспорит Иова.

Я же молчу, исчезая в уме из любимого взгляда,
глаз не спуская и рук не снимая с ограды.

Дикий шиповник идет, как садовник суровый, не знающий
с розой пунцовой, страха,
со спрятанной раной участка под дикой рубахой.

ПРОЩАНИЕ С ОТРАЖЕНИЕМ

Где прошлое, где вытянуты дни,
как длинный пригород во время гриппа,
она сидит над смертью молодой,
над книгой. Растущие листья
перебирает. И тогда в саду
я слышу шум бумаги отсыревшей
и, кажется, догадываюсь я
о том, что там: о бедности, о ветре,
о позднем ужине, о том, что поздно,
о том, что некого спросить, когда
стучат в окно рукой короткопалой,
шумят в углу и на ухо кричат:
Разбей себя! — и шопотом: Разбей,
разбей себя, как зеркало кривое,
перед которым встали — и оно
осталось пусто. И она в ответ
кивает и захлопывает том.

На этом сад кончается. А там —
широкая осенняя свобода,
и быстрый холод, и горячий шаг,
и чье-то сердце в сердце отдается,
и в листьях бьется,
и гремит в ушах.